

Юзеф Игнацы Крашевский

Ермола

Это было в одной из тех местностей Волинского Полесья, уединенных и забытых, через которые не пролегала еще доселе ни почтовая, ни большая транспортная дорога: в уголке, где живут еще почти средневековой жизнью и господствуют средневековые же — простота, честность, веселость и убожество. Прошу, однако же, не подозревать меня, будто бы этим я хотел выразить, что большими дорогами вместе с цивилизацией следуют и проступки и испорченность нравов, но есть, кажется, переход между одним и другим бытом, в котором пока вырабатывается новое, а старое умирает, остается какое-то неинтересное ни то, ни се, если можно так выразиться. Переходное же время, кое-где наступившее, еще не коснулось нашей местности, где жили, особенно в небольших домах, следуя нравам и обычаям XVI и XVII столетий. Правда, в более достаточных домах, выкрашенных желтой краской и принадлежавших полупанкам,¹ начиналась уже какая-то реформа, на которую, однако же, мелкая шляхта смотрела, как

¹ Мелкопоместные дворяне.

на чудовищную странность. Да и могло ли быть иначе в этой трущобе, куда газеты приходили раз в месяц, где обязанность почты исправляли евреи, уезжавшие на шабаш в местечко, а торговое движенье ограничивалось базарами, где продавали скот и лапти (о дровах предоставляем себе сказать ниже). Есть, может быть, скептики, которые не поверят возможности существования подобного закоулка; но не подлежит сомнению, что в окрестностях Пинска встречаются или, по крайней мере, недавно встречались дома, где спрашивали о здоровье короля Станислава-Августа в совершенном неведении о событиях, совершившихся со времен Костюшки. Никто там не видал солдата, никто не знал чиновника, а те, кто отвозит в Пинск подати, не слишком любопытствуют знать, кому вносят деньги, и, заворачивая в платок квитанцию, не заботятся прочесть ее, что, впрочем, и не ловко было выполнить.

Это говорится между прочим, потому что в местности, о которой речь, не все уже было до такой степени отстало и просто. Ежегодно доходили туда, в конце декабря, бердичевские календари, внося с собою слабый луч цивилизации и запас необходимейших сведений для тамошнего обывателя: время появления кометы, число, в которое должна наступить пасха, восход и заход

солнца, и способ истребления насекомых, изобретенный в Англии. Почта была оттуда не далее ста верст, но богатые посылали за нею раз в месяц — и уж не более, как в шесть недель: некоторые даже подобным путем вели свою переписку.

Надо сказать, однако же, правду, что большая часть, в случае надобности, предпочитали посылать нарочных, хотя бы и за несколько сот верст. Да и не знаю, есть ли где в мире посланцы, подобные полесчукам: ² никто не ходит так быстро, не проберется всюду, не наскучит требованием ответа и не выкрутится из всех опасностей. С первого взгляда примешь непременно за нищего или бродягу этого оборванца: в серой свитке, обвешанного котомками и запасом лаптей, — а, между тем, у него иной раз за околышем шапки или за онучей заткнуто дело в несколько десятков тысяч. Так уж и Господь Бог создал посланцем полесчука: он пронюхает дорогу покороче, и проберется, и попадет всюду, как-то вовремя, с неподражаемою скоростью. Поэтому-то и в шляхетских обычаях сохранилось употребление посланца, незаменимого никакою почтою. В каждой деревеньке существует несколько подобных

² Жители Полесья.

привилегированных пешеходов, которые отправляются за несколько сот верст по образцу пешего хождения, и будь у них в виду несколько золотых барыша, готовы отправиться с письмом хоть в Калькутту. И до сих пор еще существует предание об одном полесчуке, которого какой-то пан Сгинский послал в Париж к своему кузену, — и посланец принес ему ответ с поклоном через несколько месяцев.

Если бы у посланца полесчука и была лошадь, то он никогда на ней не поедет, считая ее скорее бесполезною тяжестью, нежели вспомогательною силою.

Но мы уже чересчур разговорились о характеристике полесских гонцов и позабыли о своем рассказе. Местность наша, географического положения которой точнее обозначать не видим надобности, составляла что-то среднее между Волынью и пинским Заречьем. Это была значительная часть края, по большей части, еще заросшая сосновыми и дубовыми лесами, среди которых на расчищенных пространствах, в разных местах лежали деревеньки с своими закопченными избами. Сплавная Горынь перезывала боры, придавая им высокую цену, а потому и доход имений в основном зависел от лесной торговли. При всеобщей простоте тамошних нравов и скромном быте, который и не требовал более

роскошной обстановки, все почти наживали там состояние и жирели под старость. Самая дорогая цена мяса была за фунт полторы копейки, да и за тем посылать не имелось надобности, потому что евреи развозили по дворам; за барана с кожей платили три злота (45 к.)! Хлеба было вволю, в заработке не было недостатка. Одним словом, жалкий по наружности и колтуноватый³ полесчук не променял бы своего быта на быт зажиточного волынца. Здешний крестьянин, не полагаясь на хлебопашество, имеет различные способы заработков, которые избавляют его от страха за неурожай, бывающий бичом иных местностей, где иногда через семь, а иногда и через два или три года случается скудная жатва. Лес и река, от которых владельцы не отстраняют его — служат ему обильным источником доходов и мелких промыслов. Во-первых, лес, даже и после вырубки в нем лучших деревьев на продажу, не приносящий владельцу относительно никакого дохода, чрезвычайно прибылен для крестьянина. Помещик не станет заниматься такими вещами как дубовая кора, липовые лыки, ободья, полозья, хозяйственные принадлежности, обручи, лапти, лоза, щепки, — а крестьянин до сих пор почти еще

³ Колтун — местная болезнь волос на голове.

езде выделяет в лесах, что хочет, даже уничтожая молодые заросли и портя наилучшие деревья. Хоть небольшие деньги, но все же перепадает ему кое-что за сушеные ягоды и грибы, которых большое изобилие; по берегу реки тоже постоянные занятия: то поступают на плоты, то занимаются рыболовством. Короче говоря, здесь нельзя умереть с голоду. Конечно, случается и беда (к кому, однако же, не заглядывает эта гостья), но стоит только перебиться как-нибудь до весны, а там снова пошел себе человек жить. Бывают и тяжкие, черные, как здесь их называют, дни, когда хлеб пекут с половой и древесною корою, но земля наша не была бы землею, если бы на ней постоянно было, как на небе.

В домах тоже быт патриархальный, в поддержании которого мало принимают участия торговля и чужие края, так что при небольшом стеснении можно бы без них обойтись совершенно. В деревне легко достать и сделать все необходимое, а привозные товары только сахар, кофе, бутылки франконского вина, называемого здесь французским, какая-нибудь четверть фунта чаю и немного перца. Но и то во многих случаях сахар заменяют медом, который ничего не стоит, кофе — цикорием, чай — ромашкой и более здоровым липовым цветом, вино — водкой и медом, а перец — хреном... О говядине мы уже говорили, птица

разводится во дворе, свечи льют дома, сукно ткут на старосветском верстаке, приводящем в умиление простотою, полотно готовится также своими средствами, и нет ремесла, которое не было бы известно в значительнейших селениях. Кузнец, столяр, плотник, бондарь, каменщик — все это хоть плохое, но есть, и готово к услугам. В случае какой-нибудь крайней необходимости за отсутствием нужного ремесленника непременно выберется полесчук, который видел когда-то как где-то, что-то делалось — и возьмется попробовать, нередко подобным образом испортив несколько раз вещи, и выходит деревенский ремесленник.

Не скажу, чтобы здесь сильно процветали искусства и промышленность... но за то же ведь от художника немного и требуется в Полесье. Если, например, сапожник сошьет сапоги, — правда, с первого раза покажется, что они сделаны не для человеческой ноги, какие-то круглые, безобразные и твердые, словно скованные из железа. Но попробуйте надеть: года два не износите, хотя и будете ходить по грязи. Ног, конечно, не спрашивают, каково им будет в этих сапогах; ноги пусть благодарят Бога, что покрывает их чужая кожа, и искусственная подошва заменяет живую, а что касается мозолей, то их никогда не приписывают обуви, а считают естественным последствием трудов известного возраста.

Так и все здесь делается: крепко, надежно, толсто, а если некрасиво для глаз или неудобно для изнеженных, то тем хуже для глаз, которые разбаловались и для кожи, которая привыкла к комфорту. Надо прибавить, что каждый ремесленник в этом счастливом краю, где их мало по профессии, а все аматеры и умеют всего понемногу, считает себя артистом, высшим существом, непонятым толпою и имеющим право несть свой непризнанный гений в корчму с гордостью, достойной уважения, и вместе возбуждающей смех. Сношения с владельческим двором, усилия проникнуть в тайны ремесла, понимание себя как необходимого члена человечества и одной из спиц общественного колеса, возбуждают чувство, которое и в других кругах и под иными широтами возникает также, как у нас в Полесье. Не один парижский художник стоит наравне с здешним чеботарем в этом отношении. В особенности знал я одного сапожника... Но этот эпизод опять отвлек бы нас от нашего рассказа.

Обширные леса служат здесь фоном и рамкой каждому ландшафту. Среди них встречаются небольшие поляны, блестят пруды и речонки, гниют вечные болота, зеленеют сенокосы, заросшие наполовину лозами, сереют и чернеют закопченные постоянным дымом хаты. Серебристая Горынь,

подобно блестящему поясу, величественно прорезывается посреди дремлющей местности, оживляемой и обогащаемой ей. По берегам Горыни лежат почти все здешние небольшие местечки. Конечно, в другом месте последнее название не дается зря, но в Полесье, где только есть церковь и костел, да базар, и где живет более, чем один еврей, там уже непременно существует местечко.

Количество сынов Израиля обуславливает важность местечка, и чем больше в нем евреев, — тем слывет оно богаче. В каждой такой маленькой столице есть свой господствующий владыка Ворох, Зельман или Майорка, который, всем торгуя, доставляет все, что угодно, от кожуха до часов; покупает хлеб и полову, держит постоянный двор, ром, табак и сахар, и знает наперечет всех окрестных помещиков, имея бумажник, наполненный их письмами и квитанциями. Лавки на базаре приспособляются к нуждам крестьянина, и в них продается все, начиная от горшка, пояса, шапки до железа, соли, дегтя и т. п. Есть две, три красные лавочки, столько же бакалейных — и дело с концом. Евреи составляют как бы душу местечка, жители которого занимаются, однако же, и хлебопашеством, потому что у нас мало таких местечек, в круг занятий которых не входило бы земледелие по славянскому обычаю. Несколько убогих шляхтичей, какой-нибудь бедняк чиновник,

ксендз — пробоц,⁴ владельческие официалисты⁵ — вот и все население. В течение недели пусто, по улицам играют еврейские дети, по базару расхаживают свободно куры, козы и коровы; зато же в воскресенье — столько дрог, фур и такой шумный, живой торг разными продуктами, что невозможно пройти, а один раз в год образуется целая ярмарка. Тогда появляются три или четыре повозки приезжих торговцев, на площади выставляются сапоги, еврей шапочник, где-нибудь у стены, на высоких жердях развешивает свои заманчивые изделия, бродит и цыган-коновал и шарманщик, и сборище увеличивается постепенно. Приезжают все окрестные помещики с женами, все экономы, писаря, чиншовая⁶ шляхта, и крестьяне с кожами, шерстью, сукном, полотном и т. п. Приятно видеть и слышать этот шум, гам, бойкий торг и всеобщее оживление. Поминутно продавцы и покупщики, ударив по рукам, идут в корчму запивать магарычи, а здесь бабы с луком, чесноком, табаком, красными поясами и запонками

⁴ Старший священник, благочинный.

⁵ Чиновники, занимающиеся в конторе у владельца.

⁶ Шляхта, платящая особого рода *чинш*.

беспрерывно находят покупателей. На другой день после ярмарки и даже до первого проливного дождя можно еще судить, что совершалось на базарной площади.

Зато же после такого бурного дня всеобщего движения вся окрестность почти целый год пребывает в печальной тишине, составляющей здесь основание обыденного быта. Человек часто невольно должен согласоваться с окружающим: никогда мы не можем совершенно освободиться от того влияния, какому подчиняется червь — зеленый на зеленом листке и красный в красном яблоке. В дремлющих сторонах — как Полесье, где склоняют ко сну и шум вековых деревьев и мертвенное болото; где влажный, насыщенный смоляным дымом, воздух веет тишиною, житель постепенно чувствует, как тише в нем вращается кровь, медленнее действуют мысли: ему так же хочется отдыха, он боится всякого усилия, и, подобно грибу, прирастает к почве. Крестьяне около сорока лет отпускают бороды, а помещики около того же возраста облакаются в халат, покидают фрак, и если женаты — не выезжают никогда из дому, а холостые начинают догадываться, что супружество не ведет ни к чему, исключая бесполезных расходов.

Несмотря на всеобщие приятельские отношения, посещают здесь друг друга редко:

летом жарко, зимой холодно, осенью грязь, а весной множество комаров. Лениность побеждается только во время именин любезного соседа или в случае крайней необходимости. Вследствие того, что невозможно прожить без посторонней помощи, — помощь эта всегда готова к услугам в лице еврея арендаря.⁷ Является он обыкновенно по зову или в урочное время, становится у порога и начинает отдавать отчет о наблюдениях своих в течение недели по окрестностям, или о том, что услышал от приезжавших на мельницу, или к кузнецу соседних обывателей. Конечно, новости эти ограничиваются сведениями: кто сколько высеял, сжал, где завяз, что и почему продал, кто куда ездил и т. п., но и эти сведения на некоторое время оказывают влияние на хозяйство, а иногда даже заставляют выехать из дому для проверки сообщенных известий.

Естественно, нельзя здесь искать никаких нововведений, ни даже стремления к ним, а скорее недоверие к ним и отвращение. Все здесь делается по-старому, зато же, если хотите знать истинное предание, или видеть следы прошлой жизни, давно исчезнувшей в других местах, только здесь можете

⁷ Не надобно смешивать со словом арендатор. Арендарь есть лицо, держащее в аренде шинок.

удовлетворить свое любопытство. Пан разделяет с крестьянами глубокое уважение к преданиям, и даже если он освоился немного с философией, и, по-видимому, смеется над предрассудками, то в уголке где-нибудь поклоняется им, потому что еще в детстве всосал их с материнским молоком, вдохнул с воздухом.

Положим, лет уже пятьсот нет замка, а все-таки место, где стоит панский дом, называется подзамчем, и если крестьянин везет туда дрова, то говорит: в замок. Где некогда в древности стояла церковь, место это именуется монастырищем. На распутьи где-нибудь давно уже запала могила, крест свалился и сгнил, а крестьянин не пройдет мимо, чтобы не бросить на нее ветки или камешка по языческому обычаю. Здесь сохранилось все прошлое: и повесть об основании деревни, опуханной парой черных волов в предохранение от чумы и падежа, и предание о каком-то князе, утопившемся в пруду, и татарские набеги, и сказки о двух братьях, которые, влюбясь в одну девицу, убили друг друга, а она с горя повесилась на их могиле.

Песня существует тысячу лет и испокон веку одни и те же нравы у обывателей, которые верны преданию, как обязанности, принятой относительно отцов и дедов.

Перенесемся теперь в описанную местность,

на берег Горыни.

Несмотря на всю любовь к родине, надо признаться, что есть годы, в которые трудно у нас увидеть весну свежую, зеленую, веселую, одним словом, весну поэтическую: она представляется чистойшей басней или греческим мифом, заимствованным для бесполезного соблазна. Начинается она бурями и дождями пополам со снегом, грязью пополам с морозом, тощей зеленью, опушенной инеем, холодом, который гораздо хуже зимнего мороза, и острым каким-то воздухом; потом вдруг, как в Сибири, являются несносные жары, и зима, подавая руку лету, решительно не позволяет весне опуститься на землю. Не знаю также, где прячется в это время расхваленная и воспетая в стихах весна, которую так аккуратно предвещает бердичевский календарь на 9 марта. Вероятно она странствует по другим краям, если правда, как говорит Кемтц и иные метеорологи, что непременно известная сумма тепла и холода должна в год издерживаться без недоимки здесь или в какой-либо местности, и утешает более холодные широты, или подбавляет тепла там, где его и без того значительное количество. Как бы то ни было, но у нас ее милость часто не исполняет своей обязанности. Не мешало бы ей вспомнить, что, наконец, она может потерять место, как чиновник, пренебрегающий службою, или как

помещик, несколько раз не ездивший на выборы, и ipso facto, потерявший право голоса.

Бывают, однако же, у нас и счастливые годы, когда весна соберется придти в пору, если не по приказанию бердичевского календаря, то в силу крестьянского предсказания и свято исполняет свою обязанность. В том году, о котором речь (хронология была бы бесполезна, — а дело было давно), шалунья, должно быть, одумалась и, дав земле выдержать с морозами и снегом до второй половины марта, неожиданно принесла с юга теплый ветер, живительный дождик, омыла почернелую скорлупу, проняла глубоко отвердевшую землю и блеснула ярким солнышком, так что в одно мгновение произошла волшебная перемена декораций.

Казалось, все ожидало только сигнала, чтобы начать свою роль: исхудалые аисты давно уже прохаживались по берегам ручьев, напрасно измеряя глубину их длинными носами и вытаскивая лишь мелкие кусочки льда; жаворонок зяб, но пел, бедняжка, посматривая на солнце; почки на некоторых деревьях уже наполнились, надулись и ожидали только теплых лучей, чтобы расцвести; травы тоже приходили в нетерпение под холодную корою. Едва только повеял теплый ветерок, брызнул дождик и появилась весна, — все оживо как по мановению волшебника. Один день произвел

большие перемены: аист взлетел и защелкал на высохшем гнезде, жаворонок смелей взвился вверх, волчье лыко убралось розовыми цветами, орешина развила свои пурпуровые сережки, трава выпрыгнула из земли, пораскрывались анемоны, глотая с жадностью первую каплю росы и первый луч солнца; высохли глубокие лужи, всюду повеселело, и, помолодев, природа казалась совершенно другою.

Везде хороша подобная весна, являющаяся в пору, но вряд ли может она быть прекраснее, как на берегах большой реки, где пробуждает жизнь и могучее движение. В особенности над Горынью, разлившеюся широко, затопившей луга и часть полей, — было весело и хорошо в прибрежных лесах. Конечно, еще не позеленел черный бор, но замечалась уже в нем пробуждавшаяся жизнь: воздух был полон запахом влажной земли, древесных почек, травы, воды, милым и упоительным запахом, имеющим волшебную способность напоминать детские годы; торжественно шумели воды, разломав не только лед, но и плотины, неся что где захватили; лес хоть шумел еще и сухими ветвями, но шумел уже иначе, другим тоном, нежели зимою.

По берегу шевелились люди после зимнего отдыха, принимаясь за труд и промысел: кто плел лозовые веревки, кто собирал разбросанные бревна,

кто связывал плот, а свежестроенная казенка наполнялась всем необходимым, чтобы вот принять в себя начальника флотилии; так называемая казенка — небольшой домик из прутьев, построенный на плоту, в котором во время плавания помещаются хозяин, касса, полиция, счеты, кладовая, водка и пекарня, снабжающая судорабочих хлебом. Не знаю, в каком виде казенка доходит в Данциг — может быть, закоптелая и неопрятная, — но в день отплытия с места — она кажется игрушкой: так бы и хотелось в ней поплавать. К несчастью, обычным ее жильцом бывает толстый, пыхтящий, проникнутый чесноком и нафаршированный луком, еврей — купеческий приказчик.

Именно в том самом месте, где мы остановились под Горынью, недалеко от берега, желтела небольшая, но очень красивая казенка; вокруг нее на большое пространство лежали плоты так густо, что по ним можно было беспрепятственно дойти не только до казенки, но и несколько сажень дальше. Все было готово, ожидали только рабочих, покупали для них запасы и откладывали поход со дня на день, притом же еще не показывалась ни одна партия плотов, которая упредила бы местную.

Хотя окрестность была еще обнажена, однако, не лишена некоторой прелести в грустном тоне. По

ту сторону широкого разлива, несколько в стороне от темного луга, раскинулось большое полесское село с серыми хатами и множеством деревьев, умерявших воздух во время летнего зноя, с древней церковью, окруженной крыльцами и оригинальной колокольной, с кладбищем в бору, среди которого местами белели березы. За рекой вправо и влево, куда только достигали взоры, тянулся сплошной стеной лес, а на водной площади — затопленные лозы указывали, до каких пор должен был понизиться разлив. Большое село это было длинно и старо, что доказывалось огромными деревьями, над ним господствовавшими.

Для дополнения целого, ища взором господский дом, вы полагали бы, что он на холме над Горынью, но подойдя ближе, в саду между срубленными деревьями и молодыми зарослями увидели бы только развалины деревянного строения и какую-то грустную пустыню. Дом был полуразрушен; одна труба его торчала уже обнаженная; а возле него дым курился еще из жилого, но ободранного флигеля. По-видимому, здесь давно уже не было помещика; даже крест, стоявший у ворот, свалился и гнил на земле, а обломанный плетень пропускал пеших и конных, в то время, когда вросшие в песок ворота, словно в насмешку, стояли запертыми на замок, хоть в них не существовало ни одной перекладины.

Вместо некогда широкой, а теперь заросшей травой дороги между господским двором и деревней скот повываптывал тропинки, по которым он ходил на пастбище.

Такое же запустение замечалось и на строениях села, содержание которых зависело от помещика, но несмотря на это, труд и промышленность вносили сюда несколько достатка и жизни.

В то время, когда начинается наша повесть, на плотях, приготовленных к отплытию, было уже мало народу; постепенно вечерело, — и от воды несло холодной свежестью. На бревне, с деревянной трубкой в зубах, сидел сгорбленный старик, а возле него прохаживался молодой парень, одетый не то шляхтичем, не то крестьянином, не то лакеем. Трудно было определить возраст старика, потому что есть лица, которые, достигнув известных лет, изменяются и стареют так быстро, сразу, что на них не оставляют уже следа позднейшие годы. Так и здесь трудно было сказать, сколько лет мог иметь сгорбленный старичок — пятьдесят или семьдесят. Весьма малого роста, несколько горбатый, с седой лысой головой и недавно запущенной бородою и усами, весь сморщенный, как моченое яблоко, он казался еще бодрым и свежим; на лице его заметно было немного крови, в глазах блеску, а некогда

правильные черты еще не совсем исчезли под морщинистой кожей. Спокойное и кротко печальное выражение лица носило необыкновенный отпечаток свободы духа — редко встречаемый у беднейших классов: казалось, старик закончил уже расчет с миром и терпеливо ожидал за это обещанной награды. По одежде трудно было его причислить к какому-нибудь определенному сословию: его нельзя было принять за простого крестьянина, хотя костюм его и мало разнился от крестьянского. Свитка его была несколько короче полесских; пояс, кожаный с пряжкой, штаны довольно тонкого сукна, на шее старенький платок, а на голове шапка с изношенным и потертым верхом. Несмотря, однако же, на эту убогую изношенную одежду, во всем проглядывала какая-то заботливая опрятность: и рубашка, выглядывавшая из-под платка, была безукоризненна, и свитка чистая, и лапти завязаны холщовыми тесемками.

Парень, судорабочий, не то дворовый, не то деревенский, с длинными темными волосами, падавшими на обнаженную шею, с небольшими подвижными черными глазами — чертами лица походил на полесский люд, из которого и происходил, по-видимому. Лицо его было круглое, рот большой, нос несколько вздернутый и красивый, лоб широк, и вообще вся физиономия

выражала довольство и ум, будучи озарена молодостью и свойственными ей весельем и беззаботностью.

— Нас в хате трое, — сказал он старику, — и пан позволил мне наняться в судорабочие. Признаюсь вам, эта походная жизнь мне нравится больше, чем барщина; надоело жить в хате под печью.

Старик пожал плечами.

— Вижу, что ты меня не слушаешь, — возразил он, — тебе захотелось поплавать, а молодой, что вобьет себе в голову, в том никто не разуверит его, разве одна беда... Но, Бог с тобой, а я все-таки скажу свое...

Парень засмеялся.

— Позвольте, я расскажу прежде свое, а потом уже буду слушать ваши речи. Во-первых, молодому не помешает увидеть свет, ведь не только его, что в окошке; во-вторых, все же мне здесь свободнее с евреем, который побаивается немного, хоть и ничего не смыслит, нежели там — с паном и экономом, а, наконец, зашибешь и копейку на подати.

— Все это правда, может быть, и еще нашлось бы что-нибудь, а старые глаза смотрят иначе. Видишь ли, человек в этих путинах отвыкает и от избы и от постоянной работы, понравится ему кочующая жизнь, а ничего нет хуже, как опротивеет

родимое гнездо. Возвратясь домой, все уже не по вкусу, и хлеб горек, и обед не солон, и люди скучны, и барщина тяжела. Начинают, обыкновенно, заглядывать для утешения в корчму к еврею, потом привыкают к водке, а там и пропал человек ни за собаку. Если бы у меня был сын, я никогда не отдал бы его на жидовские руки. Кому Бог предназначил сидеть в хате, тот пускай далеко не отходит от порога.

Слушая старика, парень задумался.

— Разве же, — сказал он через некоторое время, — человек так вот сейчас и забудет, где вырос и для чего родился! О, нет, нет, дядя... И что же дурного посмотреть на свет, чтобы после было, что рассказать детям под старость. Скорее соскучишься о своих, чем их позабудешь, а после домашний хлеб покажется вкуснее.

— Все это отчасти правда, и плаванье на плотях и судах пригодилось бы на что-нибудь, если бы только было все по Божьему, — отвечал старик. — А как там легко разбаловаться, сколько соблазну. На воде ежедневно выпадет какой-нибудь случай познакомиться с чаркой: жид, собачья шкура, на каждой мели, на каждом шмаре заливают водкой, а тут-то и берут людей черти!.. Ему что до судорабочих, лишь бы его плоты дошли в немечину, да насыпались талеры... Я, как видишь, доживаю век, а не захотелось даже ни разу

взглянуть, что дальше делается на свете; я редко выезжал из деревни — и ничего не прошу у Господа Бога, чтобы только сподобил здесь сложить свои кости.

— Когда вам и так хорошо.

— Хорошо? Гм! Конечно, теперь должно быть хорошо, потому что я отжил свое, и мне нужны только ложка борща и теплый угол; но случилось все, а все же и злую годину как-то легче перетерпеть на родном пепелище.

— А вы здешние? — спросил судорабочий.

— Здесь родился, коротал век и лягу в могилу, — отвечал старичок несколько грустно. — Грибу нечего думать о танцах.

— А любопытная должна быть история?

— Чья?

— Да ваша.

— Моя? Разве же это история? Беда родилась, беда и пропала.

— Вечером решительно нечего делать, в корчму идти боюсь; если бы вы, дядя, рассказали про свое житье-бытье. Одному сидеть на плоту скучно, а то и время прошло бы и я от вас чему-нибудь научился бы.

Старик добродушно засмеялся.

— А что же я расскажу тебе? Судьба моя не любопытна: таких много на свете. Под старость остался я один-одинешенек, и нет в свете живой

души, которая назвалась бы родною. Но ведь старикам только и надо, чтоб их слушали, зацепи только нашего брата — и сам не рад будешь.

— О, говорите только, я люблю слушать.

— Сколько себя помню, — начал старик, — то здесь на берегу Горыни бегал я по целым дням с мальчиками, правда, в изорванной рубашке и без шапки, но то было счастливое время.

— А родители?

— Я их не помню: мне было лет шесть, когда оба умерли от какой-то горячки, а как они были выходцы из Волыни, то у меня не оказалось в деревне никакого родственника. Словно сквозь сон представляется, что после похорон приказчик отвел меня с кладбища в соседнюю избу, где старуха накормила меня, два дня питавшегося лишь сухим хлебом. На другой день заставили меня пасти гусей, потом перешел я к свиньям, а потом, как заметили, что я уже понимаю дело, поручили общественное стадо. О, ничего не было приятней этой пастушьей жизни! Правда, что мы выгоняли коров до рассвета, за то же, как сладко спалось где-нибудь под кустом, когда бывало нашалишься в лугу или по лесу. С рогатым скотом не много заботы: эти животные понятливые; как только привыкнет в выгону, его и палкой не сгонишь с места; если заберется не туда, куда следует, раз, два, следует отогнать, оно само не пойдет больше. Пастуху только надо

посматривать, издалека покрикивать и заниматься, чем ему угодно.

— Э, что это за удовольствие, — прервал парень, — когда не с кем перемолвить слова...

— Нас ведь собиралось несколько мальчишек. А как разложим, бывало, огонь где-нибудь в лугах или в лесу, да нанесем картофеля, грибов или поджарим сала, то-то роскошь! А как начнем бывало петь, — просто сердце радовалось, когда песня наша далеко разносилась по лесу... Да что и толковать! Когда, однажды, наш пан, прежний помещик, царство ему небесное, встретил меня в лесу, идучи на охоту, заговорил со мною, и видно я полюбился ему, потому что тотчас же велел взять меня во двор казачком,⁸ — видит Бог, как мне не хотелось покидать пастушью жизнь свою...

— А, так вы служили во дворе?

— Всю жизнь, сынок, всю жизнь...

— А что выслужили себе на старость? Суму?

— Погоди, все узнаешь. Я не жалуясь, хоть мне, может быть, и не так посчастливилось, как другим; но что же из того, если бы я был теперь и богаче? Не ел бы я с большим вкусом, не спал бы спокойнее. Прежде выслушай, а потом увидишь,

⁸ Прислуга у польских панов одевалась по-казачьи, да и теперь еще не вывелось это обыкновение.

чего я дослужился.

На другой день привели меня во двор насильно, обмыли, обули, одели... Хоть слезы навертывались на глаза, а надо было исполнять, что приказывали. На третий или четвертый день я уже втянулся, потому что тяжелой работы не было; меня прежде приучали в буфете, пока допустили в комнаты. Пан наш был еще не старый человек, красивый мужчина, а что главное — доброго сердца. С первого уже раза ты чувствовал, что будешь любить и уважать его, потому что по внешности и по обращению видно было, что он пан на всю губу,⁹ а хоть бы оделся он в сермягу, ты и ночью узнал бы, что Господь Бог создал его властвовать. Но его власть никому не была тяжелой; разгневавшись даже, он ни с кем не говорил сурово, молчал только, а молчание это было самым тяжелым наказанием для служителей. Каков поп, таков и приход: и старый казак, которому меня поручили, и прочая челядь были добрые люди, я скоро с ними освоился. Конечно, мной помыкали, но только отвечали одни ноги на побегушках, и я даже не помню, чтобы кто ударил меня или выбранил. Казак, бывало, говорит: это сиротка, не следует обижать бедняжку... И вот

⁹ То есть пан в полном смысле слова.

позабылась пастушеская жизнь... и когда бывало, через несколько недель потом встречаю старого пастуха Грынду и прежних товарищей, то улыбнусь им только издали, показывая на свои шаровары с красной выпушкой... но в лес уже мне не хотелось. Служба была не тяжела: пан велел мне быть только в комнатах, и меня к тому приучали. Возле него немного заботы: по большей части он сам себе прислуживал, редко когда бывало потребует, и всегда обращается отечески. С старым казаком жили они словно братья, только казак иногда ворчал на него.

— Должно быть, выбрался добрый пан какой-то.

— О, на свете уж нет больше таких людей, — сказал старик, отирая слезы, — это был для меня отец и брат «месте. Жил он там, где, видишь, торчит обнаженная труба старого дома, но в его время все высматривало иначе. У него был такой порядок в каждом уголке, что на широком дворе не увидел бы и соломинки... А теперь — хлева да развалины. Из дому выезжал он редко; к нему тоже приезжали не часто, но случался иногда гость и его радушно принимали. Мы постоянно заняты были работой, да и пан не любил сидеть сложа руки: занимался хозяйством, любил охоту, лошадей; иногда ловил рыбу, возился около пчельника, работал в садике, и время летело так быстро, что не

успеешь, бывало, оглянуться, а смотришь уже и новый год на дворе. Пан был холост и одинок, как палец. Говорили, что он приехал откуда-то издалека и купил это имение, но весь народ так привык к нему, словно он был наследственный владелец, и вся деревня любила его, как родного отца.

Да и нетрудно было привязаться к нему, потому что он был добр и жалостлив, охотно помогал бедному, и никто не уходил от него без помощи. За полгода я совершенно привык к нему и занял место старого казака, который нередко жаловался на плохое здоровье. Старику хотелось и отдохнуть, притом же получил он от пана хату с усадьбой, и вот, подучив меня, он перебрался в себе на новоселье.

Но что значит привычка: через три недели он начал заглядывать во двор, а потом, бывало, подопрет колом хату и с утра до вечера сидит с нами на крыльце, покуривая трубочку. Меня и самого не выгнать бы уже из двора дубиной, потому что пан выдался такой, каких нет уже на свете.

Довольно тебе сказать, хоть это и глупость, до чего доходило в нем добродушие: он не съест, бывало, вкусного плода или хорошего кушанья, чтобы не оставить нам отведать. Через несколько лет, когда мы познакомились ближе, он сделался мне отцом, и я, подобно каждому из нас, готов был

пожертвовать за него жизнью. Я был к нему ближе всех дворовых: мы ходили с ним вместе на охоту — любимое его занятие, ездили ловить рыбу и копались в садике. Как теперь помню, встанем, бывало, до зари, а старый Бекас, пудель, догадавшись, в чем дело, начинает визжать и подпрыгивать; и вот торбы на плечи, и отправимся в кусты или в болото, да целый день и проходим, подкрепившись рюмкой водки и куском сыру с хлебом. Я сначала удивлялся, зачем такой хороший человек не любит водить знакомство с людьми, но, узнав его ближе, заметил, что хотя он и крепился и порой казался веселым, однако, в жизни его, должно быть, случилось нечто, о чем он никому не говорил, но что отравляло его спокойствие. Бывало, все весел, а вдруг задумается, вздохнет, слезы покатятся по лицу, словно горох... но едва заметил эти слезы, тотчас за ружье и в лес, или займется каким делом, и не заметишь, что недавно плакал.

Такого-то судьба послала мне пана, и мне жилось так хорошо, что я и не подумал о будущем; я уже был в летах, и он сам не раз приставал ко мне, не хочу ли я жениться и предлагал хату с усадьбой. Но как же расстаться с таким человеком! Притом же, мы до того отвыкли во дворе от женщин, словно их не существовало на свете; нам казалось, что всю жизнь можно обойтись без них, а старый казак утверждал, что женщина только насорит в хате.

Впрочем старик, несмотря на это, все-таки женился. Пан не только не заговаривал ни с одной женщиной, но даже не смотрел на них, да и мы, хоть и пошалим, бывало, в деревне, но никому женитьба и в голову не приходила. А между тем пан опустился, да и мы тоже; иные умерли, другие, в том числе и я, постепенно начали стареть, в особенности я, потому что не знаю отчего, но в тридцать лет уж голова поседела. Но жизнь во дворе не изменилась. Пан хоть и бодро держался и ходил на охоту, однако, уже не с прежним жаром; более занимался в садике, видишь ли, начали слабеть ноги. Я думаю, он повредил их в болоте, потому что ходил много и очень шибко.

Когда он начал сдаваться и хворал время от времени, — делался еще мрачнее; работать было уже не под силу, и вот он принялся за книги; читает, бывало, стонет, а по ночам, вздыхая, иногда произносил имя Бога... Иной рѣз, бывало, лежа в другой комнате, прошибут тебя слезы. Напрасно мы старались забавлять его разными способами; я начал приручать ему птичек; это развлекло его не много, но со дня на день становилось хуже, и он сделался ко всему равнодушен.

Как только пан слег в постель, к нам стали появляться какие-то незнакомые господа издалека. Приехала однажды пани, говорили, жена его брата, потом ее муж, множество родственников, которые

прежде и не вспоминали о нем, а теперь словно из земли повыросли.

Но все это нисколько на него не походило, словно совершенно чужое. Правда, все они были вежливы, скромны, говорили тихо, но мы знали от их людей, что это одно притворство для больного, а дома вели они себя совершенно иначе. Не знаю, как-то пану удалось их отправить всех разом, так что они рассерженные разъехались в одно время, а мы остались одни, слава Богу.

Так шла жизнь, чем дальше, тем грустнее, а как я осмотрелся, то тридцать лет прослужил при пане, и последнее время неотступно у его кровати. Только, бывало, больному и утешения, что поболтать со мною, поласкать старого Бекаса, посмотреть на выкормленных диких птиц, да еще иной раз, если попадется книжка по вкусу, то постоянно читал ее, и казался более спокойным. Видно было, что конец недалеко, однако все так его любили, что никто из нас не думал о себе, а мысль о его смерти или что будет потом, нам и в голову не приходила. Когда скончался наш добрый пан, мне уже было под сорок. Проведя при нем весь век свой и привыкнув к нему с детства, не могу сказать тебе, что сделалось со мною, когда я увидел пана своего в гробу; мне казалось, что и я лягу с ним в могилу.

Сел я в ноги и заплакал. Приезжали чиновники, опечатали вещи, кто-то занялся

похоронами, а я был словно во сне. На другой день прихожу в комнату покойника, подошел, убрал все, как бывало при жизни пана, и остановился, как столб, словно ожидая чего-то. Время от времени казалось, что это одно лишь страшное сновидение. И вот опять наехали те же родственники и давай спорить и искать завещания. Перерыли целый дом, и когда ничего не нашли, то кажется, устранив прочих родных, брат и его жена завладели всем имением. Пошли новые порядки. Я только просился, чтобы меня оставили во дворе; но зачем же был двор наследникам, когда они не желали жить в нем. Мне приказано было отправляться в деревню, но как у меня не было пристанища, а покойник не сделал никакого распоряжения, то мне чуть и не пришлось снова сделаться пастухом на место старого Грынды. Однако же наследники сжалились надо мною, особенно когда увидели, что я представил им в целости все вещи, и позволили мне здесь дожить до смерти. Родных у меня нет никого, куда приютиться. Вот мне и дали угол с садиком за три рубля в год. Видишь эту полуразрушенную корчму под дубами за курганом — то моя хата. Двадцать слишком лет живу я в ней и благодарю Бога; каждый день наведываюсь во двор, похожу, поплачу и снова в свою трущобу.

— И вы одни?

— Как видишь, да и умирать приходится

одиноким. Со смерти пана ни я ни к кому, да и никто ко мне не привязался. Грех сказать, крестьяне не только не огорчают меня, а, напротив, готовы помочь при случае... Но все же я один... один, как палец...

— Под старость это грустно, — сказал парень.

— Грустно, — отвечал старик, — нечего сказать, но что же будешь делать? Думать о женитьбе — не пристало с седой бородой и опираясь на палку, и, наконец, кто пошел бы за меня? Разве такая, на которой я ни за что сам не женился бы. Родных Бог не дал, значит, надо и умирать, как жилось, одинокому.

— И вы не горюете? — спросил удивленный парень.

— К чему бы это послужило? Разве я помог бы себе или переменял долю, огорчив Господа Бога! Разве, наконец, человек не привыкает ко всякой жизни?.. Лишь бы день до вечера.

Проговорив это, старик вздохнул, вытряхнул трубку, и, взяв свой посох, собирался домой.

— Ну, прощай сынок! А ты думаешь здесь ночевать?

— Жид просил лечь в казенке: там, знаете, мешки с мукой и сало, так чтобы чего не случилось.

— У нас, кажется, не должно бы ничего случиться, но береженого Бог бережет, — отвечал старик. — Доброй ночи.

— Доброй ночи, дядя.

И таким образом расстались люди, которых свел случай, сблизила часовая беседа, и которым, может быть, не суждено было встретиться в жизни. Странная вещь: чем проще люди, чем патриархальнее общество, тем легче и скорее завязывается дружба. Цивилизованные же, например, чем более стараются казаться образованными, чем учтивее, тем с большими приличиями избегают сближения. Заговорить с незнакомым или непредставленным считается почти грехом в обществе; расспросить кого при первой встрече — непροстителной невежливостью. У простолюдина совершенно иначе (и не скажу, чтоб было хуже); один час знакомит и сближает, доброе слово или открытая физиономия вызывают тотчас откровенное мнение, и зарождаются быстро и дружба, и ненависть. Здесь люди еще люди, потом они уже делаются какими-то куклами, повинующимися известному движению тесемки.

Старый Ермола, преданный воспоминаниям прошлого, медленно возвращался домой, а парень, насвистывая песенку и думая об осиротелом старике, приготавливал грудку соломы, на которой располагал уснуть возле двери казенки; ему уже хотелось отдохнуть, потому что крестьянин готов по заходе солнца уснуть каждую минуту, лишь бы

что-нибудь не помешало.

Между тем, Ермола плелся в свою хату, стоявшую недалеко. Между деревней и берегом реки, на песчаном выгоне, изредка поросшем высокими соснами и вековыми дубами, обрубленными кое-где ленивым крестьянином, который не хотел ехать за дровами в лес, виднелось странное строение, служившее приютом Ер-моле. Это была не хата, не дом, а какая-то странная развалина: покинутая, старая корчма, выстроенная в больших размерах, разрушенная по какому-то случаю, без крыши, с торчащими стропилами и клочками кровельной соломы, с некоторыми уцелевшими стенами. Один угол корчмы хоть и наклонился, однако, стоял еще твердо и в нем видно было окно, до половины залепленное глиной, дверь с новыми заплатками и стены, сохранившие серый, неопределенный цвет.

Остальное строение представляло костер изгнивших брусьев, почернелого дерева и кучу навоза, поросшего сорными травами. Каким образом уцелел кусок кровли над жилой хатой и самое строение — отгадать было трудно. Возле обложен был жердями небольшой огород, окруженный несколькими вековыми деревьями.

Обнаженная, почернелая и растрескавшаяся труба, по-видимому, еще служила обитателю этой трущобы. Развалины, как и вообще все деревянные

развалины, не имели ни величия, ни поэзии каменных руин, были грязны и неблагородны; можно было определить время, в которое им суждено превратиться в сугроб, поросший бесполезными травами. Гниль лежавших брусьев сообщалась уцелевшим стенам, и начинало дело разрушения, уже заметное там, где отвалилась от них глина. Грустно было смотреть на подобные развалины и думать, что в них суждено было существовать человеку. А между тем Ермола, привыкший уже к своему логовищу, без отвращения возвращался в свою трущобу, отворил дверь, вошел в хату и, достав огня, зажег лучины, приготовленные в печке.

Постепенно выходили из темноты углы хатки и уже можно было рассмотреть ее при пламени сухой лучины. Вероятно, хатка эта с уцелевшими стенами и крышей служила прежде спальней и кладовой арендатора. Дверь, выходящая в другую комнату, собственно корчму, разрушенную и не жилую, была забита досками, обмазанными глиной с соломой; старая печь, подновлявшаяся ежегодно, утратив прежнюю прямоугольную форму, приняла горбатый безобразный вид и вместо заслонки закрывалась кирпичами.

Легко догадаться, что утварь не была изысканна: наполовину была она деревенского происхождения — топорной работы, наполовину

состояла из разных обломков. Когда отпускали Ермолу после тридцатилетней службы, отпускали с пустыми руками, и в награду за верность позволили взять ему разбитые и ненужные какие-то обломки, которые хотели выбросить. Из этих-то остатков трудолюбивые руки сумели сладить почти все необходимые вещи. Воспользовавшись разными мелочами, Ермола убрал хатку вещами, напомиравшими ему пана и молодость. Спал он на диване, когда-то белого цвета с золотом, ножки которого выгнулись страшным образом; в голове его стоял стол с шахматной доской хорошей работы; пара кресел с досками вместо подушек, очевидно, происходили из Данцига, но их от конечного разрушения удерживали уже только веревочки и гвоздики. Возле них стоял зеленый сундук, окованный железом местного производства. Едва живая лавка помещалась у двери, а другой столик, даже не выглаженный, заставлен был горшками и мисочками. Зато на карнизе печки торжественно красовались: кружка севрского фарфора с отбитым ушком и склеенная простым клеем, горчицица, саксонский кофейник на ножках, из которых одна лет пятьдесят как была отбита, английская фаянсовая чашка и простая русская масленка в виде барашка. Убогая, но опрятная эта хатка была грустна только потому, что убрана была обломками давно забытого достатка,

служащими на удовлетворение настоящей бедности. На стене висел турецкий коврик, но весь в дырках и заплатках, а постель застлана грубой попоной; рядом с горшками блестели остатки хрусталя, фарфора и фаянса, возле красного дерева — простая соснина.

В переднем углу висел образ Почаевской Божией Матери местной работы, а возле превосходная, но страшно замокшая гравюра Рафаэля Моргена, представлявшая Тайную Вечерю Леонарда да Винчи, у которой не доставало целого угла.

Но действительным украшением этой хатки были чистота и порядок: нигде не заметили бы вы пыли, сору, каждая вещь на своем месте, и хоть тут же помещались все запасы старика и его одежда, — однако все было прибрано и расставлено без помехи одно другому. Ермола прибил к стенам полки и пользовался малейшим местечком, чтобы по возможности строить свое логовище. Даже дрова и щепки в известном порядке лежали у него всегда на одном и том же месте. Правда, у него была еще одна комната, в которой он привык складывать громадные вещи, но туда нельзя было складывать много без замка, потому что бедняк охотно делится с бедняком, не разбирая права собственности.

Войдя и затопив печку — свечи были для него слишком дороги — старик сперва осмотрел, все ли

застал в порядке; потом он поставил горшок, подогреть ужин, который иногда присылала старая казачка, а иногда и дома готовил, и, усевшись на скамейке против огня, начал шептать молитвы.

Глубокая тишина господствовала вокруг, лишь временами ветер пробежал по ветвям ближайших дубов и сосен, и Ермола предался молитве...

Вдруг среди ночной тишины раздался крик ребенка, сначала тихий и неопределенный, но постепенно становившийся более явственным. Это был голос грудного ребенка, но слышавшийся так близко, что, казалось, выходил из-под двери.

— Что же это может быть? — сказал сам себе старик, прервав молитву и вставая с лавки. — Неужели какая глупая баба вышла с детьми на реку? Или не ко мне ли кто за лекарством?

Старик начал прислушиваться, но крик не удалялся, не приближался, очевидно, дитя лежало где-нибудь на одном месте. Судя по холоду и поздней поре, нельзя было предположить, чтобы кто-нибудь оставил дитя на время в походной колыбельке, — даже самое положение выгона этого не допускало, — но детский грустный плач не смолкал ни на минуту.

— А, это сова, — подумал старик, опускаясь на лавку, — уселась где-нибудь на дубе и завывала... Но можно присягнуть, что детский голос... Как,

однако ж, умеет подражать бестия!

А между тем старик прислушался: плач постепенно становился громче.

— Нет, это не сова, а что-то непонятное! Надо пойти посмотреть, — может быть какое-нибудь несчастье... Но что же за притча!

И старик, быстро схватившись со скамейки, надел шапку, взял посох и выбежал за дверь, позабыв даже трубку, свою неразлучную спутницу. Уже на пороге он убедился, что слышен был крик какого-то бедного младенца. Старика это поразило, и он пошел по направлению крика: в огороде под ближайшим дубом что-то забелело. Ермола в огород, а перед ним на зеленом холмике плакало грудное дитя, завернутое в пеленки.

«Дитя, покинутое родителями!» — блеснула мысль в голове старика. На пороге же он отверг ее, как невозможную; проникнутый страхом, удивлением, участием и сожалением, он подбежал и, не помня себя, схватил на руки ребенка, который, ощутив движение, тотчас же перестал плакать.

Словно вор с добычей, позабыв даже свой посох, бежал Ермола в хату, повторяя:

— Дитя! Дитя!.. Чье же оно?..

Но вдруг он подумал, что может быть кто-нибудь нарочно оставил ребенка на время, и мать может встревожиться, не найдя его на месте. Ермола начал громко кричать по полесскому

способу — как пастухи, — но ответа ниоткуда не было.

— Однако же, нельзя и оставить бедное дитя на холоде, — сказал он в волнении. — Пойду в хату, верно, догадаются, где надо искать.

Когда старик вошел к себе, в печке уже погасло — ив хате было темно. Положив ребенка на кровать, он живо начал растапливать щепки, на этот раз не жалея своего запаса. Но вот огонь разгорелся, старик подбежал к расплававшемуся опять ребенку, — и удивление и ужас его возросли до высшей степени. Ребенок, очевидно, был не крестьянский, потому что завернут был иначе. И Ермола решительно не мог понять, каким образом, с какого повода мать или отец могли отречься от маленького невинного существа, глядя на которое он сам плакал от жалости и волнения.

Действительно, от первого момента крика и до этой минуты стариком, всегда доселе спокойным, овладело какое-то неведомое чувство: он был взволнован, испуган, но вместе и оживлен, — словно помолодел двадцатью годами. С дрожащим любопытством подходил он к загадочному существу, которое бросила ему судьба на утешение, словно сжалившись над его одиночеством, именно в ту минуту, когда мысль его искала какого-нибудь узла, который привязал бы его к миру.

Старательно завернутое дитя закутано было, однако же, как видно, с целью скрыть его происхождение. Бесчувственная ли мать или равнодушный отец, все-таки позаботились о нем, и обвили его целой штукой толстого белого коленкора, оставив открытым только заплаканное личико.

С каким-то остолбенением, заломив руки, присматривался Ермола к ребенку.

Не скоро ему пришло на мысль, что надо же было позаботиться, что, может быть, дитя плачет от голоду, что на него самого неожиданно пала тяжесть, с которой совладать ему будет очень трудно. Молнией блеснули у него перед глазами: кормилица, колыбель, материнские заботы и бедность, не позволявшая ему нанять прислуги для ребенка.

Наемные руки, впрочем, казались ему недостойными касаться Божьего дара, каким считал он подкидыша, считая уже себя как бы отцом, назначенным сиротке Провидением.

— Но его могут отобрать у меня! — подумал он и испугался этой мысли.

— Нет, я не отдам его никому: это мое дитя, сам Бог послал мне его, и я ни за что не покину сиротку.

А надо было что-нибудь делать, — дитя снова расплакалось. Ермола взял его на руки. Что начать?

К кому пойти за советом?

В то время, как старик, занятый своим странным приключением, носил дитя по хатке, из пеленок упал на землю какой-то тяжелый сверток. С удивлением поднял его Ермола, развернул и увидел несколько десятков червонцев. Он чуть не уронил ребенка...

— Значит кто-то богатый отрекся от своей крови и покрывает золотом преступление?

И старик задумался, стараясь разгадать свет, который так мало знал дотоле и, может быть, ясновидением сердца мгновенно понял всю черноту, убожество и страдания земной жизни.

— Боже мой! — вскрикнул он. — Нашлись бы может быть и такие, которые отняли бы у сироты эти деньги. Но нет, никто не узнает, я спрячу их, пока подрастет приемыш, — а выкормить его постараюсь собственными средствами.

И бросив золото в сундучок, стоявший у кровати, куда он клал и собственные деньги, старик накинул верхнюю одежду, решив идти в деревню, попросить у людей совета. Закутывая свою ношу, испуганный и вместе счастливый Ермола вбежал в хату казачки, вдовы его товарища Герасима, которую обыкновенно называли казачихой. Последняя сидела с дочерью, которой несколько уже лет не могла найти мужа, — хотя девушка стоила того, чтобы за нею ухаживали.

Хата, которую подарил покойный пан Герасиму, стоявшая на конце деревни, на берегу Горыни, уполномочивала старого дворового говорить поговорку: моя хата с краю, я ничего не знаю, потому что за нею были только выгон и развалины, обитаемые Ермолою. Между этими хатами, вследствие прежних отношений, сохранялась дружба: казачиха стирала белье старика, готовила ему пищу, и иногда Ермола приходил к ней за помощью, а чаще отвести душу беседой. Но казачка жила более в достатке, и никогда не терпела нужды при своей бережливости и расчетливости.

Почерневшая ветхая хата, несмотря на то, что казак строил ее с помощью пана, походила на все прочие, тянувшиеся рядом по деревне, но лес на стенах был гораздо толще и внутри было почище.

К хате этой примыкал небольшой огород и немного дальше часть поля для посева ржи и ярового хлеба. У казачихи было четыре коровы, от которых собирала она молоко, сыр, масло и продавала в местечке или окрестным помещикам; для обработки полей нанимала она плуг; имела десять овец и даже купила было в борону лошадь, которая, однако же, погибла от недосмотра. Кроме вдовы казачихи и дочери ее, жили еще в хате

старый паробок¹⁰ Федор, поседевший на чужом хлебе, несколько глухой и большой пьяница, мальчик подросток и наемная девушка. Хозяйство, управляемое старухой вдовой, могло назваться достаточным, — и тем страннее казалось, что никто не искал руки Горпины,¹¹ которая достигла уже двадцати лет и считалась первой красавицей в деревне.

Высокого роста, статного сложения, красивая, чернобровая девушка эта казалась переодетой панной, когда, бывало, в праздник уберется в голубую бекешку и желтые сафьяновые сапожки на высоких подборах. Парни только издали смотрели на нее, вздыхали, вертели шапками, чесали в затылке, но ни один не смел к ней приблизиться. Во-первых, Горпина действительно была горда, словно большая панна, во-вторых, носилась молва, что к ней приезжал один шляхтич, служивший некогда в деревне писарем, — страстно в нее влюбленный и которому она отвечала взаимностью. Об этой таинственной связи рассказывали чудеса, и вот почему парни избегали хорошенькой казачки.

Давно ничего не замечая, старуха хлопотала

¹⁰ Холостой парень.

¹¹ Аграфена.